

Ну да, плоховато жили,
но хлеба к обеду нам вдоволь ложили.
И в школьные наши карманы,
как в закрома
от Родины крохи
падали задарма.

Ну да, широко не живали,
но хлеб из-под парты жевали —
вприкуску с наукой пресной
и затяжной —
вкуснейший, здесь неуместный
мякиш ржаной.

Я надевал в десятый
топорщившийся, мешковатый
пиджак (надевал и злился,
все ждал, когда дорасту),
в котором отец женился
в 83-м году.

И где он теперь забытый
с крошками за подкладкой?
Такой у меня вопрос.
На уроках украдкой
хлебом карманным сытый -
отца я не перерос.

Это «Дон» – федеральная трасса.
Впереди по ней дом, сад, терраса.
Триста верст перелесков и пашен,
весь маршрут желтизною подкрашен.
Будто для оживленья ландшафта
то корова мелькнет, то лошадка,
и встает по ту сторону Тулы
над полянами месяц сутулый.
Я доехал, сошел у проселка.
Этой ночью прощального толка
хорошо мне сидеть на скамейке
под навесом, как в давешнем веке.
Двадцать лет тому – дом еще прочен,
слом не начат и сад не подточен.
Подбираются тени к огню.
Оставайтесь, я не прогоню.
До весны разобрали теплицы.
Хорошо у костра нам сидится,
тлеет медленно стебель за стеблем,
и стоит тишина над подстепьем.

ЛОМОНОСОВ

Солнце ходило по небу, как блесна,
тучи глотали его, и была весна.
А Ломоносов – рыб знаток и светил –
бронзовым взором окрестности обводил.
Детища своего отвернувшись от,
отдохновенье обрел сочинитель од.
Что ж, я Михайле повинной кивнул головой
и восвояси отправился с Моховой.

Тьма обступала город со всех сторон.
Был я отвергнут, но счастием одарен!
Так распадалась жизнь на неравные две.
Змейкой кружила майская пыль по Москве.
В будущее несло меня кувырком,
гром провожал архангельским говорком.
Я оглянулся кованых подле врат,
привкус свободы и пыли был горьковат.

Яблоня плодоносит лет пятьдесят,
если хватает сил.
Мой дед, посадивший сад,
его уже пережил.
Мы вдвоем в запустелом сидим саду,
август, трава ничком.
Поднимаю и на скамейку кладу
антоновку с битым бочком.
Дед выпрямляется, гладит кору
яблонь, кора жестка.
Верю, приговоренные к топору
они узнают старика.
Жалко тебе их? Кивает: да.
Ветер доносит дым.
Он все понимает и смотрит туда
куда-то. И мы молчим.

Неутомимо свёрла
темя сверлят под шапкой,
тает во рту глицин.
Осень берет за горло
оцепеневшей лапкой,
кто кого — поглядим.
Осень — одно и то же:
хищные когти скрючив
мокнет ворона — с тех
пор, как смертное ложе
стала ей листьев куча —
здесь только дождь и снег.
Мы оказались между:
сверху осадки, снизу —
листья и лужи — хлоп —
мокрый снег на одежду
падает, на карнизы
и в приоткрытый клюв.
Климат, за что, зачем нам
дан ты, как срок ГУЛАГа
некуда, в общем, бечь.
В переходе подземном
ко испитой бродяга
мне обращает речь:
«Подсоби инвалиду»,
дланью приемля стылой
двушки и пятаки...
Не теряй нас из виду,
Отче, спаси-помилуй,
мелочью помоги.

Самое время по пояс кариатиде
Андрей Белый

Две дубовые балки держат над головой
потолок этот жалкий, уголок родовой.
На покатые плечи русских кариатид
он возложен — далече им идти предстоит.
Неподвижные бревна, тот же вид за окном,
но я вижу подробно, что уменьшился дом.
Убывает как будто за хозяином вслед,
потому — ни уюта, ни тепла уже нет.
Сестрам время по пояс, они пробуют вброд,
не загадывай, кто из них первой дойдет.
Не утонут, не канут, если время — вода, —
вровень с мрамором встанут, и теперь навсегда.
Я один из последних провожаю их вдаль
не жилец, не наследник, да и гость тут едва ль.